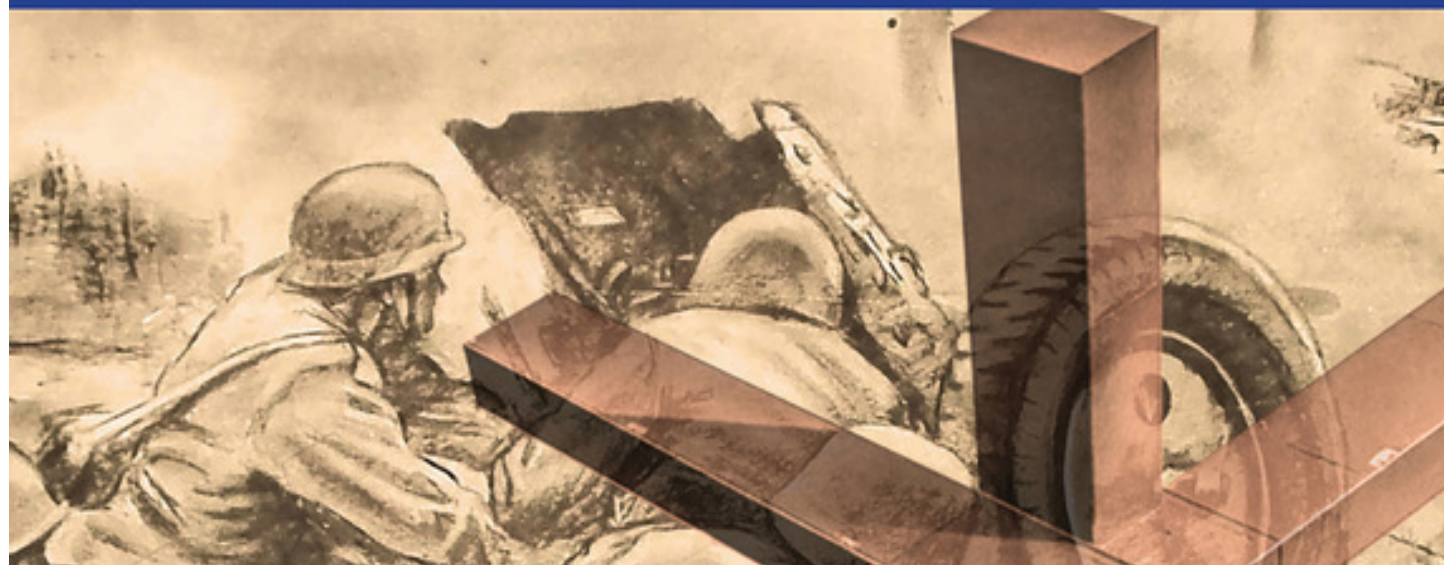


**Константин Симонов**

**Дни и ночи**

*ФТМ*





Константин Симонов

**Дни и ночи**

«ФТМ»

1943-1944

**Симонов К. М.**

Дни и ночи / К. М. Симонов — «ФТМ», 1943-1944

ISBN 978-5-4467-0450-7

«Обессиленная женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград. Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль. Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся...»

ISBN 978-5-4467-0450-7

© Симонов К. М., 1943-1944

© ФТМ, 1943-1944

## Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Константин Симонов

## Дни и ночи

*Памяти погибших за Сталинград*

*...так тяжёлый млат,  
дробя стекло, куёт булат.*

*А. Пушкин*

### I

Обессиленная женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград.

Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль.

Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся.

Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон.

За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это, вместе взятое, казалось краем света. Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше от берега Волги предстояло идти пешком. Городишко назывался Эльтоном, по имени соляного озера. Сабуров невольно вспомнил заученные еще со школы слова «Эльтон» и «Баскунчак». Когда-то это было только школьной географией. И вот он, этот Эльтон: низкие домики, пыль, захолустная железнодорожная ветка.

А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валук в Россошь, из Россоши в Богучар, и так же плакали женщины, и так же он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрек, а отчаяние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек – ничего.

– Куда загнали, а? – прошептал он, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он из теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как он шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно. И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так продолжаться не могло. Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать, что обратной переправы не будет и что его личная судьба будет решаться на том берегу, заодно с участью города. И если немцы возьмут город, он непременно умрет, и если он не даст им этого сделать, то, может быть, выживет.

А женщина, сидевшая у его ног, все еще рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Незнакомые Сабурову названия их для нее были исполнены особого смысла. Она знала, где и когда были построены сожженные сейчас дома, где и когда посажены спиленные сейчас на баррикады деревья, она жалела все это, как будто речь шла не о большом городе, а о ее доме, где пропали и погибли до слез знакомые, принадлежавшие лично ей вещи.

Но о своем доме она как раз не говорила ничего, и Сабуров, слушая ее, подумал, как, в сущности, редко за всю войну попадались ему люди, жалевшие о своем пропавшем имуществе. И чем дальше шла война, тем реже люди вспоминали свои брошенные дома и тем чаще и упрямее вспоминали только покинутые города.

Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушающих ее и сказала задумчиво и убежденно:

- Денег-то сколько, трудов сколько!
- Чего трудов? – спросил кто-то, не поняв смысла ее слов.
- Обратно построить все, – просто сказала женщина.

Сабуров спросил женщину о ней самой. Она сказала, что два ее сына давно на фронте и один из них уже убит, а муж и дочь, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знает о них.

– А вы в Сталинград? – спросила она.

– Да, – ответил Сабуров, не видя в этом военной тайны, ибо для чего же еще, как не для того, чтобы идти в Сталинград, мог разгружаться сейчас воинский эшелон в этом забытом богом Эльтоне.

– Наша фамилия Клименко. Муж – Иван Васильевич, а дочь – Аня. Может, встретите где живых, – сказала женщина со слабой надеждой.

– Может, и встречу, – привычно ответил Сабуров.

Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и, выпив ковш воды из выставленной на улицу бадейки, направился к железнодорожному полотну.

Бойцы, сидя на шпалах, сняв сапоги, подвергивали портянки. Некоторые из них, сэкономившие выданный с утра паек, жевали хлеб и сухую колбасу. По батальону прошел верный, как обычно, солдатский слух, что после выгрузки сразу предстоит марш, и все спешили закончить свои недоделанные дела. Одни ели, другие чинили порванные гимнастерки, третьи перекуривали.

Сабуров прошелся вдоль станционных путей. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту, и до тех пор оставался еще не решенным вопрос, начнет ли батальон Сабурова марш к Сталинграду, не дожидаясь остальных батальонов, или же после ночевки, утром, сразу двинется весь полк.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой.

Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были «воронежские» – так про себя называл он тех, которые воевали с ним еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падающие с самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомбы упадут дальше и можно спокойно наблюдать за их полетом. Они знали, что под минометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они знали все те простые, но спасительные солдатские истины, знание которых давало им уверенность, что их не так-то легко убить.

Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые. У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял немолодой красноармеец, издали обративший на себя внимание Сабурова гвардейской выправкой и густыми рыжими усами, как пики, торчавшими в стороны. Когда Сабуров подошел к нему, тот лихо взял «на караул» и прямым, немигающим взглядом продолжал смотреть в лицо капитану. В том, как он стоял, как был подпоясан, как держал винтовку, чувствовалась та солдатская бывалость, которая дается только годами службы. Между тем Сабуров, помнивший в лицо почти всех, кто был с ним под Воронежем, до переформирования дивизии, этого красноармейца не помнил.

– Как фамилия? – спросил Сабуров.

– Конюков, – отчеканил красноармеец и снова уставился неподвижным взглядом в лицо капитану.

– В боях участвовали?

– Так точно.

– Где?

– Под Перемышлем.

– Вот как. Значит, от самого Перемышля отступали?

– Никак нет. Наступали. В шестнадцатом году.

– Вот оно что.

Сабуров внимательно взглянул на Конюкова. Лицо солдата было серьезно, почти торжественно.

– А в эту войну давно в армии? – спросил Сабуров.

– Никак нет, первый месяц.

Сабуров еще раз с удовольствием окинул глазом крепкую фигуру Конюкова и пошел дальше. У последнего вагона он встретил своего начальника штаба лейтенанта Масленникова, распорядившегося выгрузкой.

Масленников доложил ему, что через пять минут выгрузка будет закончена, и, посмотрев на свои ручные квадратные часы, сказал:

– Разрешите, товарищ капитан, сверить с вашими?

Сабуров молча вынул из кармана свои часы, пристегнутые за ремешок английской булавкой. Часы Масленникова отставали на пять минут. Он с недоверием посмотрел на старые серебряные, с треснувшим стеклом часы Сабурова.

Сабуров улыбнулся:

– Ничего, переставляйте. Во-первых, часы еще отцовские, Буре, а во-вторых, привыкайте к тому, что на войне верное время всегда бывает у начальства.

Масленников еще раз посмотрел на те и другие часы, аккуратно подвел свои и, откозыряв, попросил разрешения быть свободным.

Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтовым заданием. Здесь, в Эльтоне, ему казалось, что уже пахнет близостью фронта. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня Сабуровым выполнил с особой аккуратностью и тщательностью.

– Да, да, идите, – сказал Сабуров после секундного молчания.

Глядя на это румяное, оживленное мальчишеское лицо, Сабуров представил себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.

Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон.

Как всегда торопясь, с подножки классного вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Подвернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову.

– Как с разгрузкой? – хмуро, не глядя в лицо Сабурову, спросил он.

– Закончена.

Бабченко огляделся. Разгрузка и в самом деле была закончена. Но хмурый вид и строгий тон, сохранять которые Бабченко считал своим долгом при всех разговорах с подчиненными, требовали от него и сейчас, чтобы он для поддержания своего престижа сделал какое-либо замечание.

– Что делаете? – отрывисто спросил он.

– Жду ваших приказаний.

– Лучше бы людей пока накормили, чем ждать.

– В том случае, если мы тронемся сейчас, я решил кормить людей на первом привале, а в том случае, если мы заночуем, решил организовать им через час горячую пищу здесь, – неторопливо ответил Сабуров с той спокойной логикой, которую в нем особенно не любил вечно спешивший Бабченко.

Подполковник промолчал.

– Прикажете сейчас кормить? – спросил Сабуров.

– Нет, покормите на привале. Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажете строиться.

Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей.

Бабченко хмуро молчал. Он привык делать всегда все сам, всегда спешил и часто не поспевал.

Собственно говоря, командир батальона не обязан сам строить походную колонну. Но то, что Сабуров поручил это другому, а сам сейчас спокойно, ничего не делая, стоял рядом с ним, командиром полка, сердило Бабченко. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные сустились и бегали. Но от спокойного Сабурова он никогда не мог этого добиться. Отвернувшись, он стал смотреть на строившуюся колонну. Сабуров стоял рядом. Он знал, что командир полка недолюбливает его, но уже привык к этому и не обращал внимания.

Они оба с минуту стояли молча. Вдруг Бабченко, по-прежнему не оборачиваясь к Сабурову, сказал с гневом и обидой в голосе:

– Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные, изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами.

Они оба посмотрели в ту сторону, куда предстояло идти полку. Там лежала все та же, что и здесь, лысая степь, и только пыль впереди, завившаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма.

– Место сбора в Рыбачьем. Идите ускоренным маршем и вышлите ко мне связных, – сказал Бабченко с прежним хмурым выражением лица и, повернувшись, пошел к своему вагону.

Сабуров вышел на дорогу. Роты уже построились. В ожидании начала марша была дана команда: «Вольно». В рядах тихо переговаривались. Идя к голове колонны мимо второй роты, Сабуров снова увидел рыжеусого Конюкова: он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками.

– Батальон, слушай мою команду!

Колонна тронулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом. Впрочем, может быть, и в самом деле впереди горела степь.



## II

Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгофена с утра повисли над городом. Трудно сказать, сколько их было на самом деле и по сколько раз они бомбили, улетали и вновь возвращались, но всего за день наблюдатели насчитали над городом две тысячи самолетов.

Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое сталинградское сражение, потому что и немцы и мы – одни перед собой, другие за собой – с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к горящему городу.

На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда казалось, что в городе снова дымно.

Немцы продолжали бомбардировки, и в Сталинграде то там, то здесь вспыхивали новые, уже никого не поражавшие пожары. Они сравнительно быстро кончались, потому что, спалив несколько новых домов, огонь вскоре доходил до ранее сгоревших улиц и, не находя себе пищи, потухал. Но город был так огромен, что все равно всегда где-нибудь что-то горело, и все уже привыкли к этому постоянному зареву, как к необходимой части ночного пейзажа.

На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее – подходили к ней. Город, растянувшийся в длину на шестьдесят пять километров, в ширину нигде не имел больше пяти, и почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины.

Канонада, начавшаяся в семь утра, не прекращалась до заката. Непосвященному, попавшему в штаб армии, показалось бы, что все обстоит благополучно и что, во всяком случае, у обороняющихся еще много сил. Посмотрев на штабную карту города, где было нанесено расположение войск, он бы увидел, что этот сравнительно небольшой участок весь густо исписан номерами стоящих в обороне дивизий и бригад. Он бы мог услышать приказания, отдаваемые по телефону командирам этих дивизий и бригад, и ему могло бы показаться, что стоит только точно выполнить все эти приказания, и успех, несомненно, обеспечен. Для того же, чтобы действительно понять, что происходило, этому непосвященному наблюдателю следовало бы добраться до самих дивизий, которые в виде таких аккуратных красных полукружий были отмечены на карте.

Большинство отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях дивизий по количеству штыков представляли собой сейчас неполные батальоны. В штабах и в артиллерийских полках еще было довольно много людей, но в стрелковых ротах каждый боец был на счету. В последние дни в тыловых частях взяли всех, кто не был там абсолютно необходим. Телефонисты, повара, химики перешли в распоряжение командиров полков и по необходимости стали пехотой. Но хотя начальник штаба армии, смотря на карту, отлично знал, что его дивизии уже не дивизии, однако размеры участков, которые они занимали, по-прежнему требовали, чтобы на их плечи падала именно та задача, которая должна падать на плечи дивизии. И, зная, что бремя это непосильно, все начальники от самых больших до самых малых все-

таким клали это непосильное бремя на плечи своих подчиненных, ибо другого выхода не было, а воевать было по-прежнему необходимо.

Перед войной командующий армией, наверное, рассмеялся бы, если бы ему сказали, что придет день, когда весь подвижной резерв, которым он будет располагать, составит несколько сот человек. А между тем сегодня это было именно так... Несколько сот автоматчиков, посаженных на грузовики, – это было все, что он в критический момент прорыва мог быстро перебросить из одного конца города в другой.

На большом и плоском холме Мамаева кургана, в каком-нибудь километре от передовой, в землянках и окопах разместился командный пункт армии. Немцы прекратили атаки, то ли отложив их до темноты, то ли решив передохнуть до утра. Обстановка вообще и эта тишина в особенности заставляли предполагать, что утром будет непременный и решительный штурм.

– Пообедали бы, – сказал адъютант, с трудом протискиваясь в маленькую землянку, где сидели над картой начальник штаба и член Военного совета. Они оба поглядели друг на друга, потом на карту, потом снова друг на друга. Если бы адъютант не напомнил им, что нужно обедать, они, может быть, еще долго сидели бы над ней. Они одни знали, насколько было опасно положение на самом деле, и хотя все, что возможно было сделать, было уже предусмотрено и командующий сам выехал в дивизии проверить выполнение своих приказаний, но от карты все-таки трудно было оторваться – хотелось чудом выискать на этом листе бумаги еще какие-то новые, небывалые возможности.

– Обедать так обедать, – сказал член Военного совета Матвеев, человек по характеру жизнерадостный и любивший покушать в тех случаях, когда среди штабной сутолоки на это оставалось время.

Они вышли на воздух. Начинало темнеть. Внизу, справа от кургана, на фоне свинцового неба, как стадо огненных зверей, промелькнули снаряды «катюш». Немцы готовились к ночи, пуская в воздух первые белые ракеты, обозначавшие их передний край.

Через Мамаев курган проходило так называемое зеленое кольцо. Его затеяли в тридцатом году сталинградские комсомольцы и десять лет окружали свой пыльный и душный город поясом молодых парков и бульваров. Вершина Мамаева кургана была тоже обсажена тоненькими десятилетними липками.

Матвеев огляделся. Так хорош был этот теплый осенний вечер, так неожиданно тихо стало кругом, так пахло последней летней свежестью от начинавших желтеть липок, что ему показалось нелепым сидеть в полуразрушенной халупе, где помещалась столовая.

– Скажи, чтобы стол сюда вынесли, – обратился он к адъютанту, – под липками будем обедать.

С кухни вынесли колченогий стол, покрыли скатертью, приставили две скамейки.

– Ну что ж, генерал, сели, – сказал Матвеев начальнику штаба. – Давно мы с тобой под липками не обедали, и едва ли скоро придется.

И он оглянулся назад, на сожженный город.

Адъютант принес водку в стаканах.

– А помнишь, генерал, – продолжал Матвеев, – когда-то в Сокольниках, около лабиринта, такие клетушки с живою оградой из подстриженной сирени были, и в каждой столик и скамеечки. И самовар подавали... Туда все больше семьями приезжали.

– Ну и комаров же там было, – вставил не расположенный к лирике начальник штаба, – не то, что здесь.

– А здесь самовара нет, – сказал Матвеев.

– Зато и комаров нет. А лабиринт там действительно был такой, что трудно выбраться.

Матвеев посмотрел через плечо на расстилавшийся внизу город и усмехнулся:

– Лабиринт...

Внизу сходились, расходились и перепутывались улицы, на которых среди решений многих человеческих судеб предстояло решаться одной большой судьбе – судьбе армии.

В полутьме вырос адъютант.

– С левого берега от Боброва прибыли. – По его голосу было видно, что он бежал сюда и запыхался.

– Где они? – вставая, отрывисто спросил Матвеев.

– Со мной! Товарищ майор! – позвал адъютант.

Рядом с ним появилась плохо различимая в темноте высокая фигура.

– Встретили? – спросил Матвеев.

– Встретили. Полковник Бобров приказал доложить, что сейчас начнет переправу.

– Хорошо, – сказал Матвеев и глубоко и облегченно вздохнул.

То, что последние часы волновало и его, и начальника штаба, и всех окружающих, решилось.

– Командующий еще не вернулся? – спросил он адъютанта.

– Нет.

– Поищите по дивизиям, где он, и доложите, что Бобров встретил.

### III

Полковник Бобров еще с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил ее в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир ее следует позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.

– Товарищ капитан, – сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми глазами, – мне не нужно вам объяснять, почему к восемнадцати часам ваш батальон должен быть на переправе.

И, не добавив ни слова, захлопнул дверцу.

В шесть часов вечера, возвращаясь, Бобров застал Сабурова уже на берегу. После утомительного марша батальон пришел к Волге нестройно, растянувшись, но уже через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось в ожидании дальнейших приказаний разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.

Когда Сабуров в ожидании переправы присел отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, полковник Бобров подсел к нему и предложил закурить.

Они закурили.

– Ну как там? – спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.

– Трудно, – ответил полковник. – Трудно... – И в третий раз шепотом повторил: – Трудно, – словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» – очень трудно, то третье «трудно», сказанное шепотом, – значило – страшно трудно, до зарезу.

Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он – высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну: все западные берега русских и украинских рек были обрывистые, все восточные – отлогие. И все города стояли именно на западных берегах рек – Киев, Смоленск, Днепропетровск, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.

Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардировщики, и густым слоем, похожим на мелкие перистые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.

В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.

А по безводной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба беженцев.

Но все это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое ясное чувство ненависти к немцам.

Вечер был прохладным, но после степного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров все еще никак не мог прийти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустился по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднес каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его: волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на войне. Эти два понятия – война и Волга – при всей их очевидности никак не вязались друг с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас то, что он стоял

на берегу Волги и пил из нее воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.

С этим ощущением он поднялся по песчаному откосу вверх, туда, где продолжал еще сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаенным мыслям, задумчиво произнес:

– Да, капитан, Волга... – и, показав рукой вверх по течению, добавил: – А вот и наш катер идет с баржей. Одну роту и две пушки разместите...

Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.

Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжело ранеными с баржи сошли десятка полтора тех, кто мог еще ходить.

– Мало легкораненых, – сказал Сабуров Боброву.

– Мало? – переспросил Бобров и усмехнулся: – Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.

– Почему? – спросил Сабуров.

– Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Вот переправитесь – на третий день сами поймете почему.

Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение, оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вез из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы ее погрузили вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирая на Сабурова, говорил, что это капсули для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили, – осажденный город, на улицах которого каждую минуту рвутся снаряды!

Сабуров разрешил погрузиться человеку с капсулями, интенданту с водкой и оттер остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат еще раненые и что с этой баржей ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она вслед за другими по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой советсфлотовской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Он расстегнул гимнастерку и оттянул ее на груди так, что она надулась парусом.

– Простынете, товарищ капитан, – сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.

Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил.

– И не замечайте, как простынете, – настойчиво повторила девушка. – Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.

Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хрипловатость.

– Каждый день переплываете? – спросил Сабуров, поднимая на нее глаза. – По сколько же раз?

– Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было – сначала в полк, потом медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берем раненых с передовой и сами везем за Волгу.

Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил:

– А не страшно вам столько раз туда и назад?

– Страшно, – призналась девушка. – Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь – страшно. Когда одна, страшнее, – ведь верно?

– Верно, – сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, находясь в своем батальоне, думая о нем, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.

Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:

– Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.

– Чего не будет?

– А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду – и я нигде не была. Я мечтала... – она засмеялась, но потом продолжала: – Мечтала, как выйду замуж, – и ничего этого тоже не было... И вот я иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет.

– А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? – спросил Сабуров.

– Нет, – убежденно сказала она. – Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.

– Сколько?

– Ну, тридцать пять – сорок, да?

– Да, – улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно ей доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.

– Вот видите, – сказала она, – вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.

Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил ее по голове и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял ее откровенность иначе, чем это нужно.

– У нас сегодня убили хирурга, – сказала девушка. – Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался и на нас кричал. И знаете, чем больше стонали раненые и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он стал сам умирать, я его перевозила – его в живот ранили, – ему было очень больно, и он тихо лежал, и не ругался, и вообще ничего не говорил. И я поняла, что он, наверное, на самом деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он все молчал и ничего не сказал, так до самой смерти... ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?

– Не знаю, – ответил Сабуров. – Может быть, он был рад, что вы на этой войне еще живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.



– Я тоже не знаю, – сказала девушка. – Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. И вдруг совсем наоборот.

Пароходик, пытаясь, подобрался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И в эту минуту в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.

– Стреляют. А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему не стреляют?

Сабуров не ответил. Он прислушался и еще до падения снаряда понял, что у этого, второго, будет большой перелет. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку – один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят еще пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.

Сабуров поднялся и, сложив руки рупором, крикнул на баржу:

– Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!

Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстегивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.

Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.

– Рама, – сказала девушка.

Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «фокке-вульф», который на фронте за его страны, похожий на букву П хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишен возможности маневрировать из-за баржи. Оставалось только ждать те пять минут, которые отделяли их от берега.

Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он ее оставил, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду.

Сабуров подошел к ней:

– В случае чего, до берега доплывете?

– Я не умею плавать.

– Совсем?

– Совсем.

– Тогда станьте поближе туда, – сказал Сабуров. – Вон, видите, круг.

Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что все сразу загremело, перекошилось, и показавшиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, перевернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув трубой воду, ушла в глубину.

Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. Тяжело налитые сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывет и так.

Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что ее уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт.

– Ой, слава богу, товарищ капитан, – обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.

Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастерки: он уже готов был прыгать в воду.

Бойцы один за другим подплывали к барже. Последним подплыл капитан парохода. Он влез, отфыркиваясь и чертыхаясь и еще глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове советгфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.

Наперерез несшейся по течению барже от берега, пыхтя, спешил катерок.

– Готовься чалить! – крикнули с него хриплым басом.

Мешочек с песком на тонкой бечеве, со свистом перерезав воздух, шлепнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.

Позади баржи упало в воду еще несколько снарядов, и все стихло: близкий крутой берег мешал немцам стрелять.

– Пересчитайте людей, – сказал Сабуров Масленникову, – да оденьтесь. Так и будете босиком стоять?

Масленников смущенно посмотрел на свои босые ноги и торопливо стал надевать сапоги.

Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурова свою шинель.

– Девушке дайте шинель, – сказал Сабуров. – Где она?

Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников.

– Ну?

– Восьми человек нет, – шепотом сообщил Масленников, и на его лице изобразилось страдание: еще только пристают к берегу, еще не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.

Баржа пришвартовалась. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулеметная трескотня. Сабурова, еще не знавшего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулеметы стреляли не дальше как в двух-трех километрах отсюда.

Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег. Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.

## IV

К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, все окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди, на фоне ночи, по всему горизонту поднимались багровые столбы пожара, и где-то поверх, на черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулаке. Косой крупный дождь бил в лицо.

На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга на ощупь и по голосу, а кругом все шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.

С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около повозок, получали сухой паек и в темноте на ощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти нигде, все было мокро: доски, навесы, развалины.

Близкая стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли очереди. Зато и слева и справа непрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.

Хотя Сабуров понимал, что главная опасность начнется с рассветом, ему все-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет, – тогда, по крайней мере, можно будет разобраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.

Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины улиц, когда смертельно усталые люди кто как заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал комбата к командиру дивизии.

Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом здания, построенного вкось на обрыве. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Подвал освещался подвешенной на столбе лампой «летучая мышь».

Сабуров не разобрал лиц, но по гулу голосов понял, что в подвале много людей.

– Сабуров, – услышал он голос Бабченко.

– Ну что ж, теперь все, – сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.

Сабуров взглянул и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел полтора месяца, с тех пор как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию недавно, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор еще не видел его. Полковник, относившийся равнодушно и даже пристрастно к тем, кто с ним давно служил, сделал из темноты шаг вперед к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:

– Ну как, Алексей Иванович? Все живой еще?

– Все живой, – ответил Сабуров.

Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени-отчеству, подчеркивая этим перед остальными свое старое солдатское товарищество с ними, независимо от их званий.

– Живой, – улыбнулся Проценко. – И я живой. Это хорошо. – И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: – Старые друзья, товарищ генерал, еще под Москвой вместе были...

И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив еще раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского поселка, где они сегодня днем ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.

Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратно сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:

– Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?

– Сделаем, – сказал Бабченко.

– В каждый батальон я тебе дам присланных из армии командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры! – повернулся Проценко.

Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.

– Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная... – глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко. – Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше путаницы и потеря. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко? – сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял. – Сегодня ночью будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.

Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:

– А вы тоже должны помнить – ночью не числом, а неожиданностью, как в Воронеже... Помните Воронеж?

– Так точно.

– Хорошо помните?

– Так точно.

– Ну, тогда все. Держитесь как в Воронеже, и еще лучше. Вот и все, вся мудрость...

Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в черное кожаное, блестящее от дождя пальто с полевыми генеральскими петлицами. Очевидно, он дал Проценко все указания еще раньше и теперь только слушал.

– У вас приказаний не будет, товарищ генерал? – спросил Проценко. – Разрешите отпустить командиров?

– Сейчас, – сказал генерал и подошел ближе к свету.

Теперь Сабуров мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжелой львиной головой, смотревшими исподлобья тяжелыми глазами, с тяжелым подбородком и с общим выражением какого-то особенного упорства во всем – в глазах, в наклоненной голове, в стремительно подавшейся вперед фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.

– В уличных боях участвовали? – спросил он Сабурова.

– Так точно.

– Саперов вперед, автоматчиков вперед, лучших стрелков вперед. Поняли?

– Понял.

– И сами вперед. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.

– И у нас в дивизии тоже так принято, – сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью.

Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.

– Разрешите отправляться командирам? – повторил Проценко.

– Да, пусть идут, – произнес генерал.

Выходя, Сабуров почувствовал на себе его внимательный взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:

– Ничего, осилит...

Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же тот наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона по дороге.

– Что ж я тебе его рожу, что ли? – грубо отрезал Бабченко. – Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?

– Выполняет, – недовольно ответил Сабуров, но Бабченко сделал вид, что не понял его.

– А раз выполняет – пусть и дальше выполняет.

Они прошли еще несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал за личную храбрость, и, кроме того, это все-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать.

– Как думаете, товарищ подполковник, должно все хорошо сойти, а?

– Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.

Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда, ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчиненного. И Сабурову не захотелось больше ни о чем его спрашивать.

Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.

Сабуров позвал к себе Масленникова, политрука Парфенова, заменявшего комиссара батальона, и командиров всех трех рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева Гордиенко, маленького Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.

– Впереди, – объяснил он, развертывая план города, – лежит площадь. На той стороне – дома, уже взятые немцами, – три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью, – говорил он, подчеркивая значение этих слов только тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...

...Силы он поделил на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом – тоже в обход – будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдет он сам...

Командиры молча слушали.

– Вы, – обратился Сабуров к Масленникову, – останетесь в резерве и, когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?

– Понял, – с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный тем, что при первом же деле его оставляют в резерве.

За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошел все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал еще под Воронежем, вызывал их поочередно, чтобы в этом первом, да еще к тому же ночном бою сразу же приняло участие как можно больше ветеранов. Если даже он за ночь потеряет много людей, то все-таки он потеряет их еще больше, если не возьмет дома́ до утра и то же самое придется делать, когда рассветет.

Обходя вторую роту, Сабуров вспомнил того солдата, с которым он говорил в Эльтоне. Этот немолодой усатый спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.

– Конюков, – позвал он.

– Здесь Конюков! – крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.

– Вот и Конюкова включите, – сказал Сабуров Потапову. – Он тоже пойдет.

Через полчаса роты с шедшими впереди отобранными Сабуровым штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам.

Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый старший лейтенант, по фамилии Жук, привел батальон к задним дворам той улицы, фасады которой представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадка, на противоположном краю которой врезанными в нее полуостровами выделялись чуть видные в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днем отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан – командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привел Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сторону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдет с ним туда. Сабуров не возражал, – напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Словно почувствовав это, Жук сказал:



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.